

А. Ф.  
ПИСЕМСКИЙ

*Избранное*



Алексей Писемский

**Боярщина**

«Public Domain»

1858

**Писемский А. Ф.**

Боярщина / А. Ф. Писемский — «Public Domain», 1858

Роман «Боярщина», одно из самых ярких и колоритных творений Писемского, был завершён осенью 1844 года. Здесь изображены уродливые нравы и быт помещичьего общества.

## Содержание

Часть первая	5
I	5
II	10
III	17
IV	22
V	24
VI	27
VII	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# Алексей Феофилактович Писемский

## Боярщина

### *Роман в двух частях*

#### Часть первая

##### I

В одной из северных губерний, в С... уезде, есть небольшая волость, в которой, по словам ее обитателей, очень большое, а главное, преприятное соседство. Всякий, кому только господь бог соблаговолил поездить по святой Руси, всякий, без сомнения, заметил, как пустеют нынче усадьбы. Ему, верно, случалось проезжать целые уезды, не набредя ни на одно жилое барское поместье, хотя часто ему метался в глаза господский дом, но – увы! – верно, с заколоченными окнами и с красным двором, глухо заросшим крапивою; но никак нельзя было этого сказать про упомянутую волость: усадьбы ее были и в настоящее время преисполнены помещиками; немногие из них заключали по одному владельцу, но в большей части проживали целые семейства. Местечко это еще исстари прозвано было Боярщиной, и даже до сих пор, если приедет к вам владимирец-разносчик и вы его спросите:

– Откуда, плут, пробираешься?

– Из Боярщины, сударь... Около месяца там плутовал, – ответит он вам.

– Там?

– Там-с. Такое уж там для нас место притоманное.<sup>1</sup>

Заседатель земского суда как, бывало, попадет иуда на следствие, так месяца два, три и не выедет: все по гостям, а исправник, которого очень все любили, просто не выезжал оттуда: круглый год ездил от одного помещика к другому. На баллотировках боярщинцы всегда действовали заодно и, надобно сказать, имели там значительный голос, тем более что сам губернский предводитель был из числа их.

На северном краю этой волости есть усадьба Могилки, которая как-то резко отличалась от прочих усадеб тем, что вся обнесена была толстым деревянным забором. Двухэтажный, с небольшими окнами, господский дом был выкрашен серою краскою; от самых почти окон начинал тянуться огромный пруд, берега которого густо были обсажены соснами, разросшимися в огромные деревья, которые вместе с домом, отражаясь в тинистой и непрозрачной воде, делали пруд похожим на пропасть; далее за ним следовал темный и заглохший сад, в котором, кажется, никто и никогда не гулял. Высокие, покрытые острым колпаком флигеля, также с маленькими окнами и посеревшие от времени, тянулись от господского дома по обоим бокам и заключались скотными дворами, тоже серыми, которые были обильно, но неаккуратно покрыты соломой. При самом почти въезде в усадьбу, на правой руке, стояла полуразвалившаяся часовня, около которой возвышалось несколько бугров, напоминавших о некогда бывшем тут кладбище. Одним словом – все как-то было серо и мрачно и наводило на вас грустное и неприятное чувство. Всякий раз, когда я проезжал мимо этой усадьбы, меня поражало необыкновенное ее сходство с раскольничьим кладбищем. Лет двадцать назад в этой усадьбе жил высокий, худощавый старик, Егор Егорыч Задор-Мановский, который один из всех соседних дворян составлял как бы исключение: он ни к кому не ездил, и у него никто не бывал. Про

---

<sup>1</sup> Притоманное – коренное, привычное.

него носились весьма невыгодные слухи: говорили, что будто бы он уморил жену и проклял собственного сына за то, что тот потребовал в свое распоряжение материнское имение. Но это были одни слухи; достоверно же знали только то, что сын лет двенадцать не бывал у отца.

– Нужно бы нам подобраться к Задор-Мановскому, – часто говаривал губернский предводитель.

– Нужно бы, ваше превосходительство, – подхватывал с...кий исправник.

– Да как подберешься? – продолжал предводитель.

– Именно, как подберешься? – заключал исправник.

Между тем, покуда они решали этот вопрос, Задор-Мановский скоропостижно умер, и после него стало совершаться все то, что обыкновенно совершается по смерти одиноких людей: деньги и вещи, сколько возможно, были разворованы домашними, а остальные запечатаны. Некоторые из соседей приехали на похороны, пожалели о покойнике, открыли его несколько редких добродетелей, о которых при жизни и помину не было, и укоряли, наконец, неблагодарного сына, не хотевшего приехать к умирающему отцу. Пять лет после того Могилки пустыли. Наконец, в них приехал новый господин – сын покойника, Михайло Егорыч Задор-Мановский, и приехал не один, а с молодою женою. Последнее обстоятельство не понравилось особенно тем из соседей, у которых на руках были взрослые дочери, потому что Мановский, несмотря на невыгодные слухи об отце, был очень выгодный жених. Все знали, что у него триста незаложенных душ, да еще, в придачу, на несколько тысяч ломбардных билетов; сверх того, он был полковник в отставке.

– Я думаю, будет в батюшку и станет жить медведем, – проговорили многие.

Но предсказание это не сбылось. В продолжение двух недель после своего приезда Мановский посетил почти всех соседей и пригласил их к себе. Результатом таких посещений было то, что сам Задор-Мановский понравился всем; скажу более, внушил к себе уважение. Правда, приемы его были несколько угловаты, но вежливы, мысли резки, но основательны. Что касается до его наружности, то он был в полном смысле атлет, в сажень почти ростом и с огромной курчавой головой. По значительному развитию ручных мускулов нетрудно было догадаться, что он имел львиную силу. Впрочем, багровый, изжелта, цвет лица, тусклые, оловянные глаза и осиплый голос ясно давали знать, что не в неге и не совсем скромно провел он первую молодость, но только железная натура его, еще более закаленная в нужде, не поддавалась ничему, и он, в сорок лет, остался тем же здоровяком, каким был и в осьмнадцать.

Но совершенно другое впечатление произвела на общество его жена. Посещая, вместе с мужем, соседей, она вела себя как-то странно: после обычных приветствий, которые исполняются при новых знакомствах и которые, надо отдать справедливость, Мановская высказывала довольно ловко и свободно, во все остальное время она молчала или только отвечала на вопросы, которые ей делали, и то весьма коротко. Более тонкий наблюдатель с первого бы взгляда заметил по грустному выражению лица молодой женщины, что молчаливость ее происходила от какого-то тайного горя, которое, будучи постоянным предметом размышлений, отрывало ее от всего окружающего мира и заставляло невольно сосредоточиваться в самой себе. Но не так показалось это соседям. «Она горда», – сказали победнее из них; «Она глупа», – решили богатые. Наружность ее тоже не понравилась. Это была блондинка; черты лица ее были правильны, но она была худа; на щеках ее играл болезненный румянец, а тонкие губы были пепельного цвета. Эти признаки органического расстройства и были причиною, что в наружности m-me Мановской соседи и соседки, привыкшие более видеть в своих дочках здоровую красоту, не нашли ничего особенного, за исключением довольно недурных глаз. Мановский в гостях обходился с женой не очень внимательно, дома же, при посторонних, он был с ней повелителен и даже почти груб. Это еще более уронило Мановскую в глазах соседей. «Ее, кажется, и муж-то не любит», – говорили одни; «И не за что», – подтверждали другие.

Так прошли два года. Задор-Мановский сделался одним из главных представителей между помещиками Боярщины. Его все уважали, даже поговаривали, что вряд ли он не будет на следующую баллотировку предводителем. Дамам это было очень досадно. «Вот уж нечего сказать, будет у нас предводительша, дает же бог таким счастье», – говорили они...

Перенесемся, однако, на несколько времени в Могилки. Гостиная Мановских была самая большая и холодная комната в целом доме. Стены ее были голы; кожаная старинная мебель составляла единственное ее убранство. Она была любимым местопребыванием Михайла Егорыча, который любил простор и свежий воздух. Рядом с гостиной была спальная комната, в которой целые дни просиживала Анна Павловна. Однажды, это было в начале мая, Михайло Егорыч мерными шагами ходил по гостиной. На лице его была видна досада. Он только что откуда-то приехал. Несмотря на то, что в комнате, по причине растворенных окон, был страшный холод, Мановский был без сюртука, без галстука и без жилета, в одних только широких шальварах с красными лампасами. Молодой, лет двадцати, лакей в сером из домашнего сукна казакине перекладывал со стула на руку барское платье.

– Вы, этта, соколики, – начал Мановский, – ездивши с барыней к обедне, весь задок отворотили у коляски, шельмы этикие? И молчат еще! Как это вам нелегкая помогла?

– Лошади разбили-с. Не то что нас, барыню-то чуть до смерти не убили, – отвечал лакей.

– Прах бы вас взял и с барыней! Чуть их до смерти не убили!.. Сахарные какие!.. А коляску теперь чини!.. Где кузнец-то?.. Свой вон, каналья, гвоздя сковать не умеет; теперь посылай в чужие люди!.. Одолжайся!.. Уроды этикие! И та-то, ведь как же, богу молиться! Богомольщица немудрая, прости господи! Ступай и скажи сейчас Сеньке, чтобы ехал к предводителю и попросил, нельзя ли кузнеца одолжить, дня на два, дескать! Что глаза-то выпучил?

– Семена дома нет-с, – отвечал лакей.

– Это как? Где же он?

– В город на почту уехал; барыня послали.

– Да ведь я говорил, – вскрикнул Мановский, – чтобы ни одна бестия не смела ездить без моего спросу.

– Барыня изволили послать.

– Как барыне не послать? Помещица какая! Хозяйством не занимается, а только письма пишет – писательница! Как же, ведь папеньку надобно поздравить с праздником, – только людей да лошадей гонять! Пошел, скажи кучеру, чтобы съездил за кузнецом.

Лакей ушел. Михайло Егорыч, надевши только картуз и в том же костюме, отправился на конский двор.

Анна Павловна, сидевшая в своей спальне, слышала весь этот разговор; но, кажется, она привыкла к подобным выходкам мужа и только покачала головой с какою-то горькою улыбкой, когда он называл ее писательницей. Она была очень худа и бледна. Через четверть часа Мановский вернулся и, казалось, был еще более чем-то раздосадован. Он прямо пошел в спальню.

– Что у нас теперь делают? – спросил он, садясь в угол и не глядя на жену.

– Ячмень сеют. Овес вчерашний день кончили, – отвечала та.

– Много ли высеяно ячменя?

– Сегодня я не знаю.

– Да что ж вы знаете? – перебил Мановский. – Я, кажется, говорил вам, чтобы вы сами наведывались в поле, а то опять обсевки пойдут.

– Но я больна, Михайло Егорыч!

– Вечная отговорка: я больна! Надели бы шубу, коли очень знобки. Для чего вы здесь живете? Последняя коровница и та больше пользы делает. Людей рассылать да коляски ломать ваше дело! Будь я подлец, если я не запру все экипажи на замок; вон навозных телег много, на любой извольте кататься! Что это в самом деле, заняться ничем не хочет: столом, что называется, порядочно распорядиться не умеет! Идет бог знает сколько, а толку нет! Куда этта, в

два месяца, какие-нибудь вышел пуд крупчатки? Знаете ли вы это? Ведь ничего не понимаете! Что у нас, – балы, что ли? Белоручка какая! Я больна!.. Я нездорова!.. Я не могу!.. Вспомнили бы лучше, много ли приданого-то принесли, – только бабий хвост, с позволения сказать.

– Зачем же вы женились на мне?

– Кто вас знал, что вы аферисты этакие! За меня в Москве купчихи шли, не вам чета, со ста тысячами. Так ведь как же, фу ты, боже мой, какое богатство показывали! Экипаж – не экипаж, лошади – не лошади, по Петербургам да по Москвам разъезжали, миллионеры какие, а на поверку-то вышло – нуль! Этакой подлости мужик порядочный не сделает, как милый родитель ваш, а еще генерал!

Последние слова, кажется, более всего оскорбили и огорчили Анну Павловну: она вся вспыхнула и заплакала.

– Как же, ведь нюни распустить сейчас надобно!.. Ужасно как жалко! Я вот сейчас сам зарыдаю!..

Анна Павловна продолжала плакать.

– За что вы меня мучите, – проговорила, наконец, она грустным голосом, – что я вам сделала? Я просила и прошу вас об одном, чтоб вы не бранили при мне моего отца. Он не виноват, он не знал, что вы женитесь не на мне, а на состоянии.

– Скажите, пожалуйста! Он не знал этого, какой малолеток! Он думал, что дочку в одной юбке отпустить благородно? Золото какое! Осчастливил!

– Я вас давно просила отпустить меня. Зачем я вам? Вы меня не любите и не уважаете!

– Смею ли я вас не уважать, помилуйте! Глубочайшее почтение должен питать! Как же, ведь такая красавица! Такая образованная! Как мне вас не уважать? Вами только и на свете существую.

Мановский долго еще бранился; но Анна Павловна не говорила уже ни слова; наконец, видно, и ему наскучило: он замолчал и все сидел накупившись.

Молодой лакей вошел и сказал, что обед готов. Михайло Егорыч пошел первый. Он выпил первоначально огромную рюмку водки, сел и, сам наливши себе полную тарелку горячего, начал есть почти с обжорством, как обыкновенно едят желчные люди. Анна Павловна сидела за столом больше для виду, потому что ничего не ела. Между тем выражение лица Мановского в той мере, как он наедался, запивая каждое блюдо неподслащенной наливкой, делалось как будто бы добрее. Вставши из-за стола, он выкурил залпом три трубки крепкого турецкого табаку и лег в гостиной на диван. Анна Павловна прошла в спальню.

Мановский, кажется, думал заснуть, но не мог.

– Анна Павловна! Подите сюда! – крикнул он.

Анна Павловна не отвечала. Михайло Егорыч снова позвал ее, но она не шла и даже не откликнулась, а потом, потихоньку вставши, хотела уйти из спальни, но Михайло Егорыч увидел ее в зеркале.

– Куда же вы? Говорят вам, подите сюда! – произнес он.

Анна Павловна остановилась в раздумье.

– Подите сюда, – повторил Мановский.

Анна Павловна вошла и села в некотором отдалении на кресло.

– Сядьте сюда поближе, – сказал Мановский.

Анна Павловна не трогалась. Михайло Егорыч достал ее рукою и посадил к себе на диван. Он, видимо, хотел приласкаться к жене. У Анны Павловны между тем лицо горело, на глазах опять навернулись слезы.

– Оставьте меня, – проговорила она, отодвигаясь на другой конец дивана.

Михайло Егорыч молча придвинул ее к себе.

– Ну, помиритесь, поцелуйте меня, – проговорил он несколько ласковым голосом.

Анна Павловна поцеловала его. Слезы ручьями текли по ее щекам.



– О чем вы плачете? Что за глупости! – проговорил Мановский и, наклонив голову жены, хотел ее еще поцеловать. Анна Павловна не в состоянии была долее владеть собой: почти силой вырвалась она из рук мужа и, проговорив: «Оставьте меня!» – ушла. Мановский посмотрел ей вслед озлобленным взглядом и по крайней мере около часу просидел на диване нахмуренный и молчаливый, а потом велел себе заложить беговые дрожки и уехал. Одевавший и провожавший его молодой лакей вернулся в прихожую в каком-то раздумье; постояв, он развел что-то руками и лег на залавок.

– Костя! Куда барин уехал? – спросила горничная девушка Анны Павловны, Матрена, заглянувши в лакейскую.

– В Спиридоново, чай, – отвечал тот.

– К Марфе?

– Ну да.

– Ой, господи, согрешили грешные, – проговорила горничная в раздумье.

– Да тебе чего тут жаль? – проговорил лакей.

– Барыню больно жаль, сидит да плачет...

– Что плакать-то. Не сегодня у них согласия нет: все друг дружке наперекор идут. Он-то вишь какой облом, а она хвора.

– Что ж, хвора? – возразила горничная.

– Что хвора! Известно: муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую.

– Да уж это так, – отвечала горничная и ушла в девичью.

– Да, так... Знаем тоже и тебя... Пошто вот Марфе попадает, а не мне, – знаем! – про-изнес сам с собой лакей и, прикорнувши головой на левую руку, задремал.

## II

Спустя месяц после описанного нами происшествия вся Боярщина собиралась в доме у губернского предводителя. Это был день именин его жены. Все почти общество было в гостиной. Самой хозяйки, впрочем, не было дома. Она уже года три жила без выезда в Петербурге, потому что, по ее собственным словам, бывши до безумия страстною матерью, не могла расстаться с детьми; а другие толковали так, что гвардейский улан был тому причиной. Не менее того, именины ее ежегодно справлялись в силу того обычая, что губернские предводители, кажется, и после смерти жен должны давать обеды в день их именин. Сам хозяин, маленький, седенький старичок, с очень добрым лицом, в камлотовом сюртуке, разговаривал с сидевшей с ним рядом на диване толстою барынею Уситковой, которая говорила с таким жаром, что, не замечая сама того, брызгала слюнями во все стороны. Она жаловалась теперь на станового пристава. Все кресла, которые обыкновенно в количестве полутора дюжин расставляются по обеим сторонам дивана, были заняты дамами в ярких шелковых платьях. Некоторые из них были в блондовых чепчиках, а другие просто в гребенках. Лица у всех по большей части были полные и слегка у иных подбеленные. Несколько мужчин, столпившись у дверей, толковали кой о чем. Другие ходили или, заложивши руки назад, стояли и только по временам с каким-то странным выражением в лице переглядывались с своими женами. Соседняя с гостиной комната называлась диванной. В ней также помещалось несколько человек гостей: приходский священник с своей попадьей, которые тихо, но с заметным удовольствием разговаривали между собою, как будто бы для этого им решительно не было дома времени; потом жена станового пристава, которой, кажется, было очень неловко в застегнутом платье; гувернантка Уситковой в терновом капоте<sup>2</sup> и с огромным ридикюлем, собственно, назначенным не для ношения платка, а для собирания на всех праздниках яблок, конфет и других сладких благодатей, съедаемых после в продолжение недели, и, наконец, молодой письмоводитель предводителя, напoмаженный и завитой, который с большим вниманием глядел сквозь стекло во внутренность стоявших близ него столовых часов: ему ужасно хотелось открыть: отчего это маятник беспрестанно шевелится. Кроме этих лиц, здесь были еще три собеседника, которые, видимо, удалились из гостиной затем, чтобы свободнее предаваться разговорам, лично для них интересным. Это были: племянница хозяина, довольно богатая, лет тридцати, вдова; Клеопатра Николаевна Маурова. Высокая ростом, с открытой физиономией, она была то, что называют *belle femme*<sup>3</sup>, имея при том какой-то тихий, мелодический голос и манеры довольно хорошие, хотя несколько и жеманные; но главное ее достоинство состояло в замечательной легкости характера и в неподдельной, природной веселости. Сидевшая с нею рядом особа была совершенно противоположна ей: это была худая, желтая, озлобленная девственница, известная в околоте под именем барышни, про которую, впрочем, говорили, что у нее было что-то такое вроде мужа, что дома ее коло-тило, а когда она выезжала, так стояло на запятках. Третье лицо был молодой человек: он был довольно худ, с густыми, длинными, а ля мужик, и слегка вьющимися волосами; в бледном и выразительном лице его если нельзя было прочесть серьезных страданий, то по крайней мере высказывалась сильная юношеская раздражительность. По модному черному фраку и гладко натянутым французским палевым перчаткам, а главное по стеклышку, которое он по временам вставлял в глаз, нетрудно было догадаться, что он недавно из столицы.

Эти три лица разговаривали о чувствах и страстях.

– Итак, Эльчанинов, вы говорите, что ваш идеал – женщина страдавшая, вот уж не понимаю, – говорила Клеопатра Николаевна, пожимая плечами.

<sup>2</sup> В терновом капоте – в капоте, сшитом из тонкой шерстяной, с примесью пуха, ткани – терно.

<sup>3</sup> красавица (франц.).

– Что тут непонятного? – отвечал молодой человек. – Горе облагораживает и возвышает душу женщины, как и человека вообще.

– Ах, боже мой! – подхватила вдова. – После этого всякая женщина может быть идеалом, потому что всякая женщина страдает. Полноте, господа! Вы не имеете идеала. Я видела мужчин, влюбленных в таких милых, прекрасных женщин, и что же после? Они влюблялись в уродов, просто в уродов! Как вы это объясните?

– Я могу объяснить только то, что сам переживал, – отвечал молодой человек.

– Клеопатра Николаевна вас спрашивает про наружность вашего идеала, – заметила барышня с ядовитой улыбкой. – Страдает ведь всякая женщина, – прибавила она.

– Про наружность я не могу вам сказать определенно, – отвечал молодой человек. – Впрочем, мне лучше нравятся женщины слабые, немножко с болезненным румянцем и с лихорадочным блеском в глазах.

– Станный вкус! – сказала с усмешкой вдова. – Здесь есть одна такая женщина, только жаль, что несколько глупа.

– А, понимаю, о ком вы говорите, – заметила барышня, – о Зе?

– Конечно, о ком же больше, – отвечала Клеопатра Николаевна.

– Кто такая Зе? – спросил молодой человек.

– Женщина слабая, с болезненным цветом лица, с лихорадочным блеском в глазах и вдобавок еще глупенькая, – отвечала Клеопатра Николаевна.

– Худая и больная женщина вряд ли может быть глупа, – возразил молодой человек. – Все дураки пользуются обыкновенно благом здоровья: у них тело развешивается на счет души.

– Желаю вам отыскать поскорее ваш идеал, – сказала вдова, поспешно вставая. – Пойдемте, Nathalie, – прибавила она, взяв за руку свою собеседницу. Обе дамы пошли в гостиную. Несмотря на старание скрыть, досада промелькнула в лице Клеопатры Николаевны.

Молодой человек с насмешливой гримасой посмотрел им вслед. Это был один из соседних помещиков, некто Валерьян Александрович Эльчанинов. Мнение соседей об нем было такое, что матушкин баловень, которая возилась с ним, как курица с яйцом, и, ни много ни мало, проучила и прожила на него двести душ. Ну, и выучить, конечно, выучила многому, но проку из того, кажется, вышло мало, потому что молодой человек вряд ли служил где-нибудь и имел ли даже какой-нибудь чин. После смерти матери он жил по столицам, а теперь приехал на житье в свою разоренную усадьбу – на какую-нибудь сотню душ; и вместо того чтобы как-нибудь поустроить имение, только и занимался тем, что ездил по гостям, либо ходил с ружьем да с собакой на охоту. Прекрасное занятие для молодого образованного человека!

Шум в зале возвестил о приезде новых гостей. Хозяин привстал с места. В гостиную вошел Мановский, сопровождаемый женой. Мужчины приветливо и с почтением подавали руку первому.

– Милости просим, дорогой гость, – говорил хозяин, тоже протягивая обе руки Задор-Мановскому. – Как ваше здоровье, Анна Павловна? – прибавил он.

Мановский и жена поздравили предводителя с дорогой именинницей и справились, давно ли от нее получал письма.

– Недавно, очень недавно, – отвечал старик и солгал.

Новоприезжие разошлись; Анна Павловна, поклонившись некоторым дамам, села на отдаленное кресло; Задор-Мановский подошел к мужчинам.

В это время в гостиную вошел Эльчанинов, прислонился к колонне и, стараясь принять несколько изысканное положение, вставил стеклышко в глаз и взором наблюдателя начал оглядывать общество. Вдруг глаза его неподвижно остановились на одном предмете; бледное лицо его вспыхнуло.

– Кто эта дама? – спросил он торопливо и не без волнения, схватив за руку проходившего мимо исправника.

– Которая-с?

– На крайнем кресле, в коричневом платье.

– Это жена Задор-Мановского.

– Что ж, она здешняя?

– Нет, он женился там где-то, далеко.

В это время мимо них прошла Клеопатра Николаевна с своей спутницей.

– Ваш идеал приехал, можете адресоваться, – сказала она Эльчанинову. Тот ей ничего не ответил и вряд ли даже слышал ее замечание. Он, не спуская глаз, глядел на Мановскую.

– Как имя этой мадаме Мановской? – спросил он опять исправника.

– Анна Павловна, – отвечал тот.

– Это она, – почти вслух сказал Эльчанинов и быстро пошел в ту сторону, где сидела Мановская.

Исправник с усмешкою посмотрел ему вслед.

– Ну, теперь пошел, – сказал он, подмигнув стоявшему возле толстому Уситкову и тоже наблюдавшему эту сцену. – Видно, Мановского еще не видал.

– Да, – отвечал тот, усмехнувшись, – тут насчет этого небезопасно! И не такому жиденькому кости переломают.

Между тем Эльчанинов стоял уже перед Мановской.

– Вы ли это, Анна Павловна? – сказал он, все еще в недоумении, глядя на молодую женщину.

Мановская взглянула на него, и судорожный трепет пробежал по ее лицу. Она хотела что-то отвечать, но голос ей изменил.

– Валерьян Александрыч, как вы здесь? – проговорила, наконец, она.

– Я здешний уроженец! Скажите лучше, как вы попали сюда? – сказал Эльчанинов, садясь около нее.

– Я замужем.

– Замужем? За кем? Мне говорили...

– За Мановским.

– Но вы больны, голос ваш слаб, вы не похожи на себя?

Анна Павловна ничего не отвечала.

– Неужели мои пророчества, – продолжал молодой человек, – которые я предсказывал вам в шутку, неужели они сбылись? Неужели вы?..

– Бога ради, не говорите со мною, – прервала шепотом молодая женщина, – на нас смотрят, отойдите от меня.

– Я не отойду от вас, покуда вы мне не скажете, что с вами? Отчего эта перемена? Вспомните, вы называли меня когда-то вашим другом! Вы должны быть со мною откровенны!..

– Только не здесь, бога ради, не здесь, – подхватила Анна Павловна.

– Где же?

– Где хотите: в лесу, в поле, только не при людях!.. Отойдите!

– По крайней мере назначьте время и место.

– Я гуляю в поле, близ Лапинской рощи, – сказала шепотом Анна Павловна, – будьте там в пятницу, в четыре часа!.. Отойдите!

Эльчанинов повиновался ей, и первым его делом было – выйти на балкон. Лицо его горело. Несколько минут простоял он, наклонившись над перилами, и, как бы желая освесить от внутреннего волнения, вдыхал довольно свежий воздух, потом улыбнулся, встряхнул волосами и весело возвратился в гостиную.

– Вам нечего меня опасаться, – сказал он тихо Мановской, проходя мимо нее. – Здесь всем известно, что я влюблен в madame Маурову.

Молодая женщина взглянула на него и, кажется, поняла этот намек.

Эльчанинов подошел к вдове, которая на этот раз была одна и сидела опять в наугольной, задумчиво перебирая концы своего шарфа.

– Как я рад, – сказал он, усаживаясь около нее, – что, наконец, встретил вас без вашей гувернантки.

– Это что значит? – спросила вдова, внимательно посмотрев на молодого человека.

– Это значит, что я могу с вами, наконец, говорить откровенно.

– Право?.. А я не замечала в вас притворства. Напротив, вы слишком откровенны.

– А мой идеал?

– Что ж ваш идеал?

– Я изобрел его, чтобы скрыть настоящий.

– Или вы тогда хитрили или теперь хитрите, – сказала Клеопатра Николаевна, снова внимательно взглянув на молодого человека.

«Она умнее, нежели я полагал», – подумал про себя Эльчанинов.

– Позвольте мне с вами рядом сесть за столом, – сказал он вслух.

– Извольте.

Он поцеловал ее руку.

– Еще одна просьба!

– А именно?

– Чтобы не было около вас вашей спутницы.

– Это почему?

– Я ее терпеть не могу: она сплетница, и я должен буду невольно притворяться.

– За что же вы ее не любите? Вот что значит наружность! Ах, господа, господа мужчины!

– Прошу вас!

– Извольте! Впрочем, помните, это жертва!

– Merci, – сказал Эльчанинов и снова поцеловал руку Клеопатры Николаевны.

– Вы мне скажете ваш идеал, – сказала вдова, не отнимая руки.

– Скажу, – отвечал молодой человек с притворным смущением и сжал ей руку.

Они разошлись.

Через полчаса сели за стол. Эльчанинов был рядом с Клеопатрой Николаевной. Вдова была, говоря без преувеличения, примадонною всех съездов Боярщины. Она была исключительным предметом внимания и любезности со стороны мужчин, хоть сколь-нибудь претендующих еще на любезность. Причина этому, конечно, заключалась в независимости ее положения, в ее живом, развязном характере, а больше всего в кокетстве, к которому она чувствовала чрезмерную склонность. В числе ее поклонников был, между прочим, и Задор-Мановский, суровый и мрачный Задор-Мановский, и надобно сказать, что до сего времени Клеопатра Николаевна предпочитала его прочим: она часто ездила с ним верхом, принимала его к себе во всякое время, а главное, терпеть не могла его жены, с которой она, несмотря на дружеское знакомство с мужем, почти не кланялась.

Судьба посадила Задор-Мановского напротив вдовы.

– Кто этот молодой человек? – спросил он у своего соседа, указывая на Эльчанинова.

– Это сосед его превосходительства, недавно приехал, – отвечал тот.

– Где же он живет?

– В Коровине.

– В Коровине?.. Что же, он служил, что ли, где-нибудь?

– Бог его знает, неизвестно.

В это время Эльчанинов что-то с жаром начал говорить вдове. Она краснела несколько. Мановский стал прислушиваться, но – увы! – Эльчанинов говорил по-французски. Задор начал кусать губы.

– Клеопатра Николаевна! – сказал он, не вытерпев. Ответа не было.

– Клеопатра Николаевна! – повторил еще раз Мановский. Вдова взглянула на него.

– Когда же мы с вами поедem на охоту? – спросил он.

– Я не буду больше ездить на охоту, – отвечала торопливо Клеопатра Николаевна. – Ну, продолжайте, бога ради, продолжайте; это очень интересно, – прибавила она, обращаясь к Эльчанинову.

– Почему же вы не хотите ездить? – спросил неотвязчиво Мановский.

– Ах, боже мой, почему? Потому что... не хочу.

– А вы ездите на охоту?.. Странное для дамы удовольствие, – заметил с усмешкой Эльчанинов.

– А почему оно страннее удовольствия – беседовать с вами? – заметил дерзко Мановский. Эльчанинов посмотрел на своего противника.

– А вам это, видно, очень неприятно? – сказал он опять с усмешкой.

Мановский только взглянул на него своими выпуклыми серыми глазами.

– Неужели? – подхватила с громким смехом вдова. – Это очень лестно. Благодарю вас, m-г Эльчанинов, вы открываете мне глаза.

Эльчанинов многозначительно улыбнулся.

Мановский был совершенно уничтожен: его не только не предпочли, но еще и осмеяли.

Есть люди, в душе которых вы никакой любовью, никаким участием, никакой преданностью с вашей стороны не возбудите чувства дружбы, но с которыми довольно сказать два – три слова наперекор, для того, чтобы сделать их себе смертельными врагами. Таков был и Задор. Ревнивый по натуре, он тут же заподозрил вдову в двусмысленных отношениях с молодым человеком и дал себе слово – всеми силами мешать их любви. Таким образом, судьба как бы нарочно направила пронизательный взор этого человека совершенно не в ту сторону, куда бы следовало.

– Кто это такой? – спросил Эльчанинов Клеопатру Николаевну, – он, кажется, неравнодушен к вам.

– Не знаю, – отвечала она кокетливо и прибавила: – Это Задор-Мановский.

– Задор-Мановский, – повторил Эльчанинов.

Последнее известие его весьма обеспокоило.

В это время в залу вошел низенький, невзрачный человек, но с огромной, как обыкновенно бывает у карликов, головой. В одежде его видна была страшная борьба опрятности со временем, щегольства с бедностью. На плоском и широком лице его сияло удовольствие. Он быстро проходил залу, едва успевая поклониться некоторым из гостей. Хозяин смотрел, прищурившись, чтобы узнать, кто это был новоприезжий.

– Честь имею, ваше превосходительство, – начал бойко гость, – поздравить с драгоценнейшей именинницей и позвольте узнать, как их здоровье?

– Благодарю, Иван Александрыч, благодарю! Пишет, что здорова, – отвечал с обязательной улыбкой Алексей Михайлыч, – прошу покорно садиться!.. Малый! Поставь прибор.

– Извините, ваше превосходительство, – продолжал Иван Александрыч, – что не имел времени поутру засвидетельствовать моего поздравления: дядюшка изволили прибыть.

– Граф Юрий Петрович приехал! – почти вскрикнул хозяин.

– Граф приехал, – повторилось почти во всех концах стола.

– Вчерашний день, – начал Иван Александрыч, – в двенадцать часов ночи, совершенно неожиданно. Конечно, он мне писал, да все как-то двусмысленно. Знаете, великие люди все любят загадки загадывать. Дом-то, впрочем, всегда ведь готов. Вдруг сегодня из Каменок ночью верховой... «Что такое, братец?..» Перепугался, знаете, со сна, – «Дядюшка, говорит, его сиятельство приехал и желают вас видеть». Я сейчас отправляюсь. Старик немножко болен с дороги, ну, конечно, обрадовался. Так мы и просидели. Приятное родственное свидание!

– А надолго приехал Юрий Петрович? – спросил хозяин. – Да садитесь около меня, Иван Александрыч!.. Эй, переставьте сюда прибор!

Иван Александрыч сел.

– Надо полагать, что на год, если только не соскучится, – начал он, а потом, склонивши головку немного набок, продолжал: – Сегодня за кофеем уморил меня со смеху старик. – «Тесен, говорит, Ваня, у меня здесь дом». Каменской дом тесен, в тридцать комнат!

– Да зачем же ваш дядюшка приехал так надолго? Видно, в Петербурге уж ненадобен? – спросил Мановский.

Иван Александрыч только усмехнулся.

– Дядюшка, – начал он внушительным тоном, – может жить, где захочет и как захочет.

– Будто? – спросил Задор.

Иван Александрыч точно не слышал этого вопроса.

– Для здоровья, надо полагать, он больше приехал, чтобы здоровье свое поправить, которое точно что потратил от трудов своих, – проговорил он, обращаясь к хозяину.

– Конечно, конечно, – подтвердил тот.

– Враки! – произнес как бы сам с собою, впрочем довольно громко, Мановский.

Известие о приезде графа заняло всех. Во всю остальную часть обеда только и говорили об нем. Граф Юрий Петрович Сапега был совсем большой барин по породе, богатству и своему официальному положению, а по доброте его все почти окружные помещики были или обязаны им, или надеялись быть обязанными. Сверх того, может ли маленький человек не почувствовать живого интереса к лицу важному. Все себе дали слово: на другой же день явиться к графу для засвидетельствования глубочайшего почтения, и только четыре лица не разделяли общего чувства; это были: Задор-Мановский, который, любя управлять чужими мнениями, не любил их принимать от других; Анна Павловна, не замечавшая и не видевшая ничего, что происходило вокруг нее; потом Эльчанинов, которого в это время занимала какая-то мысль, – и, наконец, вдова, любовавшаяся в молчании задумчивым лицом своего собеседника. Что касается до Ивана Александрыча, то он был просто на небе. Все к нему адресовались с вопросами, все желали говорить с ним. О такой минуте он давно и постоянно мечтал. В околотке он был известен не столько под своим собственным именем и фамилией, сколько под именем графского племянника, хотя родство это было весьма сомнительно, и снискан некоторым вниманием Сапег он собственно был за то, что еще в детстве рос у них в доме с предназначением быть карликом; но так как вырос более, чем следовало, то и был отправлен обратно в свою усадьбу с назначением пожизненной пенсии. Проживая таким образом лет около двадцати в Боярщине, Иван Александрыч как будто не имел личного существования, а был каким-то телеграфом, который разглашал помещикам все, что делал его дядя в Петербурге или что делается в имении дяди; какой блистательный бал давал его дядя, на котором один ужин стоил сто тысяч, и, наконец, какую к нему самому пламенную любовь питает его дядюшка. – «Да что ж вы не едете в Петербург?» – спрашивали его некоторые из соседей, видя его очень небогатую жизнь, которую он вел в своей деревнюшке.

– А имение-то дяди? – отвечал Иван Александрыч, хотя при имении был особый немец-управитель, который, говорят, даже не пускал и в усадьбу племянника по каким-то личным неудовольствиям. Но возвращаясь к рассказу моему: после обеда Эльчанинов тотчас же отошел от вдовы; ему было досадно на себя за несколько колких слов, которые он, по незнанию, сказал Задор-Мановскому. «Мне бы надобно было с ним познакомиться, сойтись, сделаться частым его гостем, а там и приятелем, а теперь... как теперь поедешь с визитом? Впрочем, нельзя ли как-нибудь еще поправить, – думал он сам с собою, – можно с ним опять заговорить, приласкаться, счестся дальним родством и посмеяться даже над вдовой».

С этим намерением он вошел в гостиную. Первый предмет, представившийся его глазам, был Задор-Мановский с картузом в руках. Он прощался с хозяином, отговариваясь болезнью жены; недалеко от него стояла Анна Павловна уже в шляпке.

Все надежды рушились... Теперь прошу ожидать, когда удастся встретиться с Мановским где-нибудь в доме. Он посмотрел на Анну Павловну, и ему показалось, что ей тоже не хотелось уезжать. Как она была хороша в эту минуту, и как позавидовал он ее мужу, который поедет вместе с нею вдвоем в коляске, будет ласкать ее, поцелует, тогда как ему нельзя даже проститься с ней; хоть бы еще два слова сказать, хоть бы еще раз условиться в свидании. «Боже мой! К чему эти общественные понятия, которые так стесняют свободу человека!..» Так думал Эльчанинов, и, когда Мановские уехали, ему сделалась страшная скука. Походя без всякой цели из комнаты в комнату, он решил ехать домой. А потому, взявшись за шляпу, простился с хозяином и пошел отыскивать Клеопатру Николаевну.

Вдова сидела в диванной с исправником и еще с некоторыми мужчинами.

– Это что значит? – сказала она, увидев Эльчанинова со шляпою в руках. – Вы едете?

– Я еще поутру говорил вам, что мне после обеда нужно будет ехать, – отвечал он, как бы стараясь оправдаться.

– Полно, так ли? – спросила вдова, устремив проницательный взор на молодого человека. – Полноте, не ездите.

– Нужно-с.

– Когда же вы у меня будете?

– Когда прикажете.

– Приезжайте завтра.

– Хорошо.

– На целый день?

– На целый день... Adieu.<sup>4</sup>

– Adieu, ужасный человек.

---

<sup>4</sup> Прощайте (франц.).



### III

Чтобы объяснить читателю те отношения, в которых находилась Мановская с Эльчаниновым, я должен несколько вернуться назад.

Хорошенький собой и очень умненький Валер перебивал, я думаю, во всех пансионах московских. Мать везде находила, что или дурно кушать ему дают, или строго учат.

Лет восемнадцати, наконец, оставшись после смерти ее полным распорядителем самого себя, он решился поступить в тамошний университет с твердым намерением трудиться, работать, заниматься и, наконец, образовать из себя ученого человека, во славу современникам и для блага потомства, намерение, которое имеют почти все студенты в начальные месяцы первого курса. Он накупил себе книг, записался во все возможные библиотеки и начал слушать лекции; но все пошло не так, как он ожидал: на лекциях ему была страшная скука; записывать слова профессора он не мог; попробовал читать дома руководства, источники, но это оказалось еще скучнее. А между тем жизнь пахнула уже на него своим обаянием: он ходил в театры, на гулянья, познакомился с четырехкурсными студентами, пропировал с ними целую ночь в трактире и выучился без ошибки петь «*Gaudeamus igitur*»<sup>5</sup>. Рядом с ним стояла актриса; он познакомился с актрисой и стал с нею декламировать Шекспира. Время между тем шло: Эльчанинов опомнился только перед экзаменом; в три – четыре дня списал он пропущенные лекции и в один месяц с свойственной только студентам быстротой приготовился к экзамену. Его перевели. Этот успех сделал то, что Эльчанинов в продолжение года решительно перестал думать об университете. Жизнь сделалась главной его целью. У него были приятели, были знакомые. Он кутил, танцевал, изъяснялся в любви, играл на домашних театрах и писал в бессонные ночи стихи. Теряя таким образом в отношении образования, Эльчанинов в то же время натирался, что называется, в жизни: он узнал хорошо женщин, или лучше сказать, их слабости, и был с ними смел и даже дерзок. Он умел с первого взгляда разгадывать людей или по крайней мере определить: богат ли человек, или нет, питает ли он к своей личности уважение, или вовсе не дерзает на самолюбие. Бывая в разнородных обществах, Эльчанинов сделался в некоторой степени тонок в обращении с людьми. Он старался подделаться к тем, которые были его выше, и не чужд был давнуть тех, которых считал ниже себя. Но хуже всего Эльчанинов, как и большая часть людей, понимал самого себя. Впечатлительный по характеру, энергический и смелый в своих предприятиях, но слабый при исполнении их он стал предполагать в себе сильные страсти, а вследствие их, глубокие страдания.

Один из приятелей Эльчанинова познакомил его с своей теткой, радушной старухой, у которой была внучка, только что выпущенная из Смольного монастыря. Это была пухленькая брюнетка, с розовыми щечками и с быстрыми, как у дикой серны, глазками. Она очень понравилась Эльчанинову. Он начал ласкаться к старухе, более и более стал учащать свои посещения и через месяц сделался уже совершенно домашним человеком. Все шло как нельзя лучше для студента: старушка его полюбила, маленькая брюнетка час от часу к нему привыкала, и вот в один вечер Эльчанинов, оставшись наедине с Верочкой (так звали брюнетку), долго и высокопарно толковал ей о любви, а потом, как бы невольно схвативши ее пухленькую ручку, покрыл ее страстными поцелуями. Верочка заплакала от стыда. Студент утешал ее, умолял любить его и говорил, что если она сейчас же не скажет, что любит его, так он пойдет и застрелится. Верочка испугалась и сказала, что она действительно его любит, что ей без него страшная скука, и в заключение просила как можно чаще ходить к ним. Эльчанинов был в восторге: он целовал, обнимал тысячу раз свою Лауру<sup>6</sup> (так называл он Веру), а потом, почти не помня

<sup>5</sup> «Будем веселиться» (лат.) – начальные слова старинной студенческой песни.

<sup>6</sup> Лаура – имя возлюбленной знаменитого итальянского поэта Франческо Петрарки (1304—1374), воспетой им в сонетах.

себя, убежал домой. Эта минута была пафосом любви его к Вере. В последующее затем время он уже ничего нового не открывал в своей Лауре: она оставалась такой, какой была в первую минуту, то есть хорошенькой девушкой, которую с удовольствием можно целовать, ласкать и которая сама очень мило ласкалась, но затем больше ничего. Верочка была действительно небогата внутренним содержанием, Эльчанинову начинало становиться скучно у старой немки, и он ходил к ней более уже по привычке. Но вот однажды, это было в воскресенье, он пришел к ним обедать. Верочка выбежала к нему навстречу.

– Валерьян! – сказала она, взявши его за руки, – поздравь меня, Анета приехала. Ах, как нам троим будет весело. – С последними словами Вера потащила студента в гостиную.

– Вот она, – сказала брюнетка, указывая на молодую девушку, сидевшую возле старой немки.

Эльчанинов невольно остановился в смущении, несвязно пробормотал что-то такое старухе и поклонился приятельнице Веры, которая поразила его своей наружностью. Она была блондинка. Никогда еще Эльчанинов не встречал такой нежной красоты, никогда еще не видал такого кроткого и спокойного взгляда, каким взглянула на него девушка своими карими глазами из-под длинных ресниц. Она была так стройна и воздушна, что показалась Эльчанинову одной из тех пери, которые населяют заоблачный мир, и как бы нарочно была одета в белое газовое платье. Это была Анна Павловна, теперь больная, худая Анна Павловна, но тогда счастливая, не знакомая ни с одним из житейских зол, жившая в кругу людей, которые истинно любили и берегли ее. Анна Павловна вместе с Верой вышла из Смольного монастыря<sup>7</sup> и теперь только что воротилась из деревни, где почти целый год прожила с отцом своим. Она, видно, искренне любила приятельницу свою, потому что на другой же день по возвращении приехала навестить ее. Обе девушки, по выходе из учебного заведения, далеко были раскинуты общественным положением. Анна Павловна, как дочь одного из значительных людей, стала принадлежать совершенно иному миру, нежели бедная Вера, которая, бывши не более как дочерью полкового лекаря, поселилась у своей бабушки, с тем, чтобы, проскучав лет пять, тоже выйти за какого-нибудь лекаря.

Эльчанинов поправился и начал разговаривать со старухой, между тем Вера, усевшись возле приятельницы, начала ей что-то шептать.

– Кто эта девица? – спросил студент тихо у старухи.

– Дочь генерала Кронштейна, – отвечала та. – Очень добрая девушка, как любит мою Верочку, дай ей бог здоровья. Они обе ведь смолянки. Эта-то аристократка, богатая, – прибавила старуха. И слова эти еще более подняли Кронштейн в глазах Эльчанинова. Он целое утро проговорил со старухой и не подходил к девушкам, боясь, чтобы Анна Павловна не заметила его отношений с Верочкой, которых он начинал уже стыдиться. Но не так думала Вера.

После обеда старуха ушла в спальню, а студент остался с девушками.

Он сел поодаль.

– Валерьян, – сказала Вера, – поди сюда! Анета знает все, я ей рассказала.

Эльчанинову легче было бы провалиться сквозь землю; впрочем, он совладел с собой.

– Вера Александровна, – начал он, обращаясь к Анне Павловне, – могла быть с вами откровенна; но я не имею на это никакого права.

Анна Павловна опять взглянула на него из-под длинных ресниц своих.

– Я могу желать только одного, – продолжал Эльчанинов, – чтобы вы сами убедились, что я достоин вашего участия. Позвольте мне с вами видаться как можно чаще, бывать перед вами в горькие и отрадные минуты моей жизни.

– Я без вашей просьбы дала себе слово строго наблюдать за вами, – отвечала с легкой улыбкой Анна Павловна.

---

<sup>7</sup> Смольный монастырь – привилегированное женское учебное заведение в Петербурге – институт «благородных девиц».

Таким образом, то, чего боялся Эльчанинов, послужило ему в пользу. Он много рассчитывал на этом дружеском сближении и все остальное время был очень занимателен: он говорил, как говорят обыкновенно студенты, о любви, о дружбе, стараясь всюду выказать благородство чувств и мыслей, и в то же время весьма мало упоминал, по известной ему цели, о своей любви к Вере. Из этой беседы он увидел, что Анна Павловна далеко превосходила свою подругу умом и образованием, несмотря на равенство лет и одинаковость воспитания. Эльчанинов возвратился домой совершенно очарованный своей новой знакомой. План его был таков: сблизившись и подружившись с молодой девушкой, он покажет ей, насколько он выше ее подруги, и вместе с тем даст ей понять, что, при его нравственном развитии, он не может истинно любить такую девушку, какова была Вера, а потом... потом признаться ей самой в любви, но – увы! – расчет его оказался слишком неверен. Правда, он более и более сближался с Анной Павловной, но в то же время увидел, что она чрезвычайно искренне любит добренькую и пустую Веру, и у него духу даже не доставало хоть бы раз намекнуть ей, что он не любит, а только обманывает ее приятельницу. Он увидел, напротив, что чем более будет обнаруживать любви к Вере, тем выше будет становиться в глазах Анны Павловны, и он принялся за последнее. Благодаря усердному чтению романов, а частью и собственным опытам, Эльчанинов успел утончить свои чувства, знал любовь в малейших ее подробностях и все это высказывал перед молодыми девушками, из которых Вера часто дремала при этом, но совершенно другое было с Анной Павловной: она заслушивалась Эльчанинова до опьянения. Он видел это и постоянно старался держать себя на высоком строю. Впрочем, судьба скоро изменила ход этой маленькой драмы и надолго растолкнула эти три лица, жившие почти в продолжение года в таких тесных между собою отношениях. Вера занемогла. Бабушка, Анна Павловна и Эльчанинов не отходили от больной, но все было тщетно: через две недели она умерла. Эльчанинов обнаружил сильную горечь; Анна Павловна утешала его, хотя сама гораздо более нуждалась в этом. Почти со слезами умолял он ее не прекращать с ним дружбы и позволить ему видаться с ней. Анна Павловна согласилась; она еще два раза приезжала к старой немке, которая почти ослепла, плача день и ночь по своей внучке. Эльчанинов был, конечно, тут же, в оба раза молодая девушка показалась ему несколько странной: она как будто бы остерегалась его, боялась за самое себя и беспрестанно говорила о Вере. «Она любит меня», – подумал Эльчанинов, и надежда снова зародилась в душе его. Дня через два он пошел к старой немке в надежде встретить там Анну Павловну. Старуха была одна и, по обыкновению, плакала.

– У меня еще горе, – сказала она, – Анна Павловна вчера приезжала ко мне прощаться: она уехала навсегда из Москвы с батюшкой. Вам она велела отдать письмецо.

В глазах потемнело у студента, руки и ноги задрожали. Он проворно схватил записку и проворно пробежал ее строки, как бы стараясь разувериться в том, что он слышал. Письмо было следующее: «Прощайте, добрый и благородный человек! Я с вами расстаюсь и расстаюсь, может быть, навсегда; но где бы я ни была, что бы со мною ни было, я сохраню о вас воспоминание вместе с воспоминанием о моей доброй подруге. Да наградит вас бог счастьем, вы его достойны по благородству ваших чувств. Не забудьте меня, я вас очень любила и буду любить всегда. Adieu!»

Эльчанинов почти обеспамятел: он со слезами на глазах начал целовать письмо, а потом, не простясь со старухой, выбежал из дому, в который шел за несколько минут с такими богатыми надеждами, и целую почти ночь бродил по улицам. Москва ему опротивела. Первым его намерением было ехать вслед за Анной Павловной, но где она будет жить и как с нею будет видаться? С отцом он не знаком, тайных свиданий никакого права не имел требовать! И этих мыслей было достаточно, чтобы он отменил свое намерение и остался в Москве; целую неделю после того никуда не выходил из квартиры, не ел, не спал, одним словом, страдал добросовестно, а потом, как бы для рассеяния, пустился во все тяжкие студенческой жизни.

Приближающийся экзамен заставил его, наконец, опомниться, и он принялся готовиться. Необходимость заниматься лекциями, а не собственными своими чувствами, очень ослабила горесть впечатления, которое произвел на него отъезд Анны Павловны. Окончивши курс, он совершенно уж не тосковал, и в нем только осталось бледное воспоминание благородного женского существа, которое рано или поздно должно было улететь в родные небеса, и на тему эту принимался несколько раз писать стихи, а между тем носил в душе более живую и совершенно новую для него мысль: ему надобно было начать службу, и он ее начал, но, как бедняк и без протекции, начал ее слишком неблистательно. Его определили куда-то сверхштатным писцом, обещаясь, впрочем, впоследствии, за прилежание и когда узнает канцелярский порядок, сделать столоначальником, – но не таков был Эльчанинов. В две недели служба опротивела ему насмерть. И мог ли он, никогда постоянно не трудившийся, убивши первую молодость на интриги с женщинами, на пирушки с друзьями, на увлечения искусствами, мог ли он, говоря, с его подвижным характером, привыкнувши бежать за первым ощущением, сдружиться с монотонной обязанностью службы и равнодушно выдерживать канцелярские сидения, где еще беспрестанно оскорбляли его самолюбие, безбожно перемарывая сочиненные им бумаги. Эльчанинов начал падать духом; жизнь ему стала казаться несносной. Друзей, этих беззаботных, но умных юношей, около него уже не было: все они или разбрелись, или начали, как выражался он, подлеть в жизни; волочиться ему не хотелось или, лучше сказать, не попадалось на глаза женщины, в выборе которых он сделался строже. Сначала он думал выйти в отставку и жить так в Москве; но расстроенное состояние не давало ему на то никакой возможности. Ехать в деревню и жениться... на этой мысли Эльчанинов остановился; она казалась ему лучшей и единственной: по крайней мере он будет иметь цель, а если достигнет ее, так войдет в совершенно новые обязанности. С таким намерением вышел он в отставку и приехал в деревню, дав себе слово никого из соседей не знакомить с своим формуляром и непременно влюбить в себя какую-нибудь богатую невесту. Клеопатра Николаевна была первая женщина, которую он заметил; но она была вдова, ей было тридцать лет, и, кроме того, несколько провинциальные манеры и легкость победы, которую заметил он в ней, значительно уронили ее в его глазах. Возвести ее на степень своей жены он считал недостойной и волочился за нею от нечего делать, любя иногда подразнить ее, что было весьма нетрудно, потому что вдова заметно им интересовалась и была немного вспыльчива. Появление Мановской показалось Эльчанинову каким-то чудом, совершившимся для того, чтобы вознаградить его за все страдания и несчастья, которых он себе очень много насчитывал. Мысль, что она живет от него в таком близком соседстве, обрадовала его, а так быстро назначенное тайное свидание подало ему полную надежду достигнуть взаимности. В одну минуту забыл он свое намерение жениться. Любить эту женщину, заставить ее полюбить себя, вот на что он решился теперь. У них будет интрига, будут тайные свидания, будут сплетни общества, над которыми они станут смеяться и с помощью Клеопатры Николаевны сбивать всех с толку, – вот о чем он мечтал. Небольшая размолвка с Задор-Мановским стала казаться ему еще в пользу. «Это лучше, – думал он, – мы будем видаться тайно, а при тайных свиданиях скорее можно достигнуть цели». Возвратившись домой, он совершенно погрузился в мечтания о своей любви и будущих наслаждениях. Он воображал, как эта женщина после долгой борьбы уступит, наконец, его желаниям и предастся ему в полное обладание, а далее затем ее самоотвержение: вот он делается болен, она обманывает мужа, приезжает к нему, просиживает целые ночи у его изголовья... Мечты его и на этом не остановились; ему представлялось, что у них уже есть прекрасный ребенок, к которому впоследствии очень кстати можно будет проговорить стихи Лермонтова:

С отрадой тайною и тайным содроганьем,  
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю.

О! Если б знало ты, как я тебя люблю, и пр.<sup>8</sup>

Этого ребенка надобно будет воспитывать. Он будет его руководителем, наставником. Мечтая и размышляя таким образом, Эльчанинов ни разу не подумал, отчего это так изменилась Анна Павловна и не повредит ли он ей еще более своей любовью? Болезненный и печальный вид Мановской, поразивший его при первой встрече, совершенно изгладился из его воображения, когда он перестал ее видеть. Он мечтал и думал только о себе и о своих будущих наслаждениях.

---

<sup>8</sup> С отрадой тайною и тайным содроганьем... – цитата из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Ребенку».

## IV

Но что было после этого свидания с Анной Павловной, о чем думала и мечтала она? Чтобы ответить на эти вопросы, я снова должен вернуться назад.

Анна Павловна действительно была некоторым образом достойна той высоты, на которую возносил ее Эльчанинов. Немка по отцу, она была девушка умненькая, но более того — добрая, чувствительная и страшно мечтательная. В сердце своем она носила самую теплую веру в провидение. Она любила своих подруг, своих наставниц, страстно любила своего отца, и, конечно, если бы судьба послала ей доброго мужа, она сделалась бы доброй женой и нежной матерью, и вся бы жизнь ее протекла в выполнении этого чувства любви, как бы единственной нравственной силы, которая дана была ей с избытком от природы. В Эльчанинова она влюбилась с самого первого свидания, хотя совершенно была уверена, что чувствует к нему только дружбу. Смерть Веры как бы раскрыла ей самое себя. Она сделалась осторожна в обращении с Эльчаниновым, потому что стыдилась его. Расставшись с ним навсегда и ехавши в Петербург, она всю дорогу обливалась слезами, думая об нем. Ни театры, ни вечера не развлекали ее. Почти с восторгом поехала она с отцом в деревню, рассчитывая мечтать об Эльчанинове целые дни, никем и ничем не развлекаемая, но и тут неудача: с первых же дней к ним нахлынули офицеры близстоящего полка и стали за ней ухаживать. Они ей были противны. Ей могли нравиться только студенты, потому что Эльчанинов был студент. Новый удар окончательно убил ее счастье. Старый генерал объявил дочери о предложении полкового командира Мановского. Анна Павловна сначала и не поняла хорошенько, что ей предстоит, потом плакала, страдала, молилась, — отец убеждал, просил и, наконец, настаивал. Результат был тот, что бедная девушка, как новая Татьяна, полная самоотвержения, чтоб угодить отцу, любя одного, отдала руку другому, впрочем, обрекая себя вперед на полное повиновение и верность своему мужу; и действительно, с первых же дней она начала оказывать ему покорность и возможную внимательность, но не понял и не оценил ничего Мановский. Это был неглупый, но необразованный человек. Упрямый и злой по природе, он был в то же время честолюбив и жаден. Служба польстила первой из его страстей и возвела его на степень полковника и полкового командира; чин генерала был у него почти под рукой; но ему этого было еще мало: он хотел богатства и женитьбой хотел окончательно устроить свою карьеру. Дочь генерала Кронштейна казалась ему выгодной партией: все очень хорошо знали богатые поместья, которыми владел старик. Мановский сделал предложение, не будучи еще сам уверен в успехе своих исканий, но сверх ожидания отец согласился, а вскоре затем и невеста дала слово. Свадьбу назначили через две недели. В продолжение этого времени Анна Павловна так изменилась и так похудела, что когда она стояла под венцом, многие ее не узнавали. Мановский еще ни слова не говорил тестю о приданом и рассчитывал на будущее время, как вдруг неожиданный случай расстроил все его планы: имение Кронштейна, как лопнувшего откупщика, было конфисковано в казну, у него осталось только шестьдесят заложенных душ. При этом известии с Задор-Мановским сделалось что-то вроде удара; но он скрыл это от всех и выздоровел и только с каждым днем начал хуже и хуже обращаться с женой. Никакой покорностью, никаким вниманием не могла она угодить ему. Он непрестанно сердился, кричал и бранил ее. Анна Павловна, никогда любившая мужа, начала к нему чувствовать страх и отвращение. Несмотря на все ее старание уничтожить или по крайней мере скрыть это страшное чувство, Мановский заметил, и это был последний удар, который навсегда уничтожил их семейное спокойствие. Мановский вынужденным нашелся выйти в отставку и уехать в свои Могилки. Живши в полку, среди молодых офицеров, он боялся измены жены, а кроме того, увезя несчастную жертву от родных, он получил более возможности вымещать на ней свою ошибку и нелюбовь к себе. Сцены, которые я вначале описал, повторялись каждодневно. Бедная женщина, не видя ничего в будущем,

отторгнутая в настоящем от всего, что ей было дорого, сосредоточилась на прошедшем и с помощью мечтательного характера составила из него целый мирок. Эльчанинов был на первом плане, он был ее брат, друг, покровитель. В своем уединении, посреди хозяйственных забот, даже в минуты брани и укоров мужа, она думала и мечтала об Эльчанинове. Она шептала ему страстные речи, припоминала его голос, его наружность, пробегала в памяти эти долгие беседы, на которых он так много и так прекрасно говорил о дружбе, о любви. В бессонные ночи, которые проводила она постоянно, ей казалось, что ее мечтательный друг стоял близ нее. Она жаловалась ему на судьбу свою, рассказывала свои страдания, просила защиты и участия, и в то же время какое-то тайное предчувствие говорило ей, что она рано или поздно встретит этого человека, – и вдруг это предчувствие сбылось в самом деле. Я уж, конечно, не в состоянии выразить того, что было с Анной Павловной в первые минуты этого свидания. Ей сделалось весело, страшно и стыдно; тоска сдавила ей сердце: ей хотелось плакать, у ней едва достало памяти, чтоб попросить его отойти и прекратить разговор, который мог заставить обнаружить тайну перед обществом, перед ним самим; но он не отходил, он желал говорить, вызывал ее на откровенность. Что было делать? Не помня себя, она назначила ему свидание и во все остальное время как бы лишилась сознания: во всем теле ее был лихорадочный трепет, лицо горело, в глазах было темно, грудь тяжело дышала; но и в этом состоянии она живо чувствовала присутствие милого человека: не глядя на него, она знала, был ли он в комнате, или нет; не слышавши, она слышала его голос и, как сомнамбула, кажется, чувствовала каждое его движение. По приезде домой мысли ее стали мало-помалу приходить в порядок. Она вспомнила о назначенном свидании и решила не ходить на него, решила никуда не выезжать, чтоб только не встретиться с Эльчаниновым: видеться с этим человеком – чего она так давно, так страстно желала – видеться с ним теперь ей было страшно! Она боялась за самое себя, боялась, что не в состоянии будет скрыть своей тайной любви. Но, боже мой! ей хотелось еще раз видеть его, посмотреть, не изменился ли он, ей хотелось рассказать ему о своем положении, попросить у него совета. Неужели она должна была отказать себе и в этом? Нет, это выше ее сил. «Я пойду, я буду говорить с ним только о Вере... он, верно, любит еще Веру; ему приятно будет говорить со мною об ней, он помнит еще и меня... Он непохож на других людей... Я пойду!..»

## V

Село Каменки графа Сапеги, сделавшееся в настоящее время главнейшим пунктом внимания окружных дворян, превосходило все прочие усадьбы красивым местоположением и богатством строений. Огромный каменный дом стоял на самом возвышенном месте. По крутому скату горы, которая начинала склоняться от переднего его фаса, разбит был в виде четверугольника английский сад, с своими подстриженными деревьями и песчаными дорожками. Весь сад был обхвачен чугунной решеткой. Прочие усадебные строения и службы были тоже каменные. Село это с незапамятных времен находилось во владении Сапег. Несмотря на то, что владельцы никогда не жили в нем, оно постоянно поддерживалось и улучшалось, что было, я думаю, не столько по желанию самих графов, сколько делом немцев-управителей, присылаемых из Петербурга. Настоящий владелец, граф Юрий Петрович Сапега, всего раза три в жизнь свою приезжал в Каменку и проживал в ней обыкновенно лето.

Часов в шесть пополудни, это было в пятницу, граф, принявши от всех соседей визиты, сам никуда еще не выезжал, – и теперь, отобедавши, полулежал на широком канапе в своем кабинете.

В углу, около курильницы, на маленьком табурете, в почтительном положении сидел Иван Александрыч. Сапега, как видно, был в самом приятном, послеобеденном расположении духа. Это был лет шестидесяти мужчина, с несколько измятым лицом, впрочем, с орлиным носом и со вздернутым кверху подбородком, с прямыми редкими и поседевшими волосами; руки его были хороши, но женоподобны; движения медленны, хотя в то же время серые пронизательные глаза, покрывавшиеся светлой влагой, показывали, что страсти еще не совершенно оставили графа и что он не был совсем старик.

– Что, Иван, все уж у меня перебивали здешние помещики? – спросил Сапега, даже не взглянув на того, к кому относились эти слова.

– Все, ваше сиятельство, решительно все, – отвечал, вытянувшись, Иван Александрыч, – или нет... позвольте, не все... Задор-Мановский не был.

– Задор-Мановский? Кто же это Задор-Мановский и почему он не был?

– Я полагаю, ваше сиятельство, – отвечал Иван Александрыч протяжно, придумывая средство оправдать Мановского, которого в эту минуту считал уже погибшим. – Я полагаю, что у него или жена умирает, или сам он при смерти болен.

– Жена умирает! – повторил граф. – А он женат?

– Женат, ваше сиятельство.

– На хорошенькой?

– Нет-с, не очень счастлив партией.

– А на ком он женат? – спросил граф.

– На... на... дай бог память, она не здешняя, на... на... на немке какой-то, на Кронштейн.

– На дочери генерала Кронштейна? – спросил стремительно граф.

– Именно, ваше сиятельство, должно быть, что генерала Кронштейна.

– Анета Кронштейн! – говорил граф, как бы припоминая. Глаза его заблистали. – Помню, – продолжал он, – стройная блондинка, хорошенькая, даже очень хорошенькая. А что, Иван, нравится тебе она?

– Кто, ваше сиятельство?

– Ну, жена этого Задора, что ли?

– Задор-Мановского? Худа очень, ваше сиятельство.

– Да ты знаток, Иван, в женской красоте? – спросил граф.

– Ха-ха-ха, ваше сиятельство! Как вам сказать, конечно-с, больших красавиц не случилось видеть.



– А разве ты не видал Анеты Кронштейн?  
– То есть Задор-Мановской-с, ваше сиятельство? Как-же-с, сколько раз обедал, ночевал у них.

– Как же ты говоришь, что не видал красавиц? Вот тебе красавица!

– Красавица, ваше сиятельство? – спросил удивленный Иван Александрыч.

– Трудное, брат, дело понимать женскую красоту; ни ты, да и многие, не понимают ее.

– Конечно, ваше сиятельство, мы люди необразованные.

– Тут не образование, мой милый, а собственное, внутреннее чутье, – возразил граф. – Видал ли ты, – продолжал он, прищуриваясь, – этих женщин с тонкой нежной кожей, подернутой легким розовым отливом, и у которых до того доведена округлость частей, что каждый член почти незаметно переходит в другой?

Иван Александрыч слушал, покраснев и потупившись.

– А замечал ли ты, – продолжал Сапега одушевляясь, – у них эти маленькие уши, сквозь которые как будто бы просвечивает, или эти длинные и как бы без костей пальцы? – Сапега остановился.

Иван Александрыч решительно не знал, что ему отвечать.

– Или эта эластичность тела, – продолжал граф, как бы более сам с собою. – Это не опухлость и не надутость жира; напротив: это полнота мускулов! И, наконец, это влияние свежей, благоухающей женской теплоты? Что, Иван, темна вода во облацех? – заключил Сапега, обратившись к Ивану Александрычу.

– Вы, ваше сиятельство, так говорите, что... – начал было тот.

– Что – что?

– Ничего, ваше сиятельство, я говорю, что вы уж очень хорошо говорите.

– Словами не передашь всех тонкостей! – произнес граф, вздохнув, и замолчал.

– Вот, если осмелюсь доложить, – начал Иван Александрыч, ободренный вниманием дяди, – здесь есть еще красавица.

– Красавица?

– Да, ваше сиятельство, прелесть женщина, только ух какая!

– Какая же?

– Кокетка, ваше сиятельство, ужасная.

– Девушка?

– Вдова, ваше сиятельство.

– Вдова? – произнес граф. – Чем же она красавица?

– Да уж, этак, женщина высокая, белая-с, – начал Иван Александрыч, – глаза карие... нет, позвольте... голубые, зубы тоже белые.

– Купчиха!.. Мерзость какая-нибудь, должно быть! Расскажи лучше, нет ли других? – перебил Сапега.

– Других, ваше сиятельство, лучше этой нет.

– Дрянь же, брат, видно, у вас женщины.

– Известное дело, ваше сиятельство, не в Петербурге!

– Нынче и в Петербурге ничего нет порядочного, – возразил граф, – или толстая, или больная!

– Последние, видно, времена приходят, ваше сиятельство. Народ уж заметно очень мельчает.

– Послушай, Иван, – перебил Сапега, – отчего это у меня не был этот Мановский?

– Болен, должно быть, ваше сиятельство.

– Кто он такой?

– Помещик-с.

– Как бы заставить его приехать ко мне?

– Заставить, ваше сиятельство? Заставить-то трудно: очень упрям...

– Упрям? – сказал граф, подумав. – Стало быть, он не был у меня не потому, что болен, а потому, что не хочет.

Иван Александрыч, пойманный во лжи, побледнел.

– Богат он? – прибавил граф.

– Богат, ваше сиятельство, триста душ да денег куча! Вряд ли не будет на следующую баллотировку губернским.

– Чин его?

– Полковник-с.

– Завтра я поеду к нему, – сказал граф, вставая.

– К Задор-Мановскому, ваше сиятельство? – спросил Иван Александрыч, как бы не веря ушам своим.

– Да, – отвечал отрывисто граф, – ты теперь ступай в их усадьбу и как можно аккуратней узнай: будут ли дома муж и жена? Теперь прощай, я спать хочу!

Граф лег на диван и повернулся к стене, Иван Александрыч на цыпочках вышел из кабинета.

– Иван! – крикнул граф.

Племянник снова появился в дверях.

– Вели к восьми часам приготовить мне карету: я еду к предводителю, а сам сегодня же исполни, что я говорил.

– Будьте покойны, ваше сиятельство, – отвечал Иван Александрыч и вышел.

– Приготовить карету его сиятельству к восьми часам, – сказал он, проходя важно по официантской.

Несколько слуг посмотрели ему вслед с усмешкой.

– Вишь, какой командир! – сказал один из них.

– Видно, граф дал синенькую на бедность, так и куражится, чучело гороховое! – подхватил другой.

## VI

В ту самую минуту, как Иван Александрыч вышел с поручением от графа, по небольшой тропинке, идущей с большой дороги к казенной Лапинской роще, верхом на серой заводской лошади пробирался Эльчанинов, завернувшись в широкий черный плащ. Он ехал на тайное свидание с Анной Павловной. Лошадь шла шагом. Герой мой придумывал, как начать ему объяснение в любви: сказать ли, что прежде любил ее, признаться ли ей, что Вера была одним предложением для того только, чтобы сблизиться с нею?.. Но она знала, что он Веру любил, еще не выдавши ее. Гораздо лучше сказать, что теперь она осталась одна для него в целом мире, что он только ее одну может любить; а что она к нему равнодушна, в этом нет сомнения: он заметил это еще в Москве, и к чему бы, в самом деле, назначать свидание; она теперь дама и, как видно, не любит мужа и несчастлива с ним, а в этом положении женщины очень склонны к любви. Ему только надобно быть решительным. С такими мыслями подъехал он к роще, привязал лошадь к дереву и пошел пешком в ту сторону, которая прилегала к могилковскому полю.

Глубокое молчание царствовало в лесу, только шум его шагов да по временам взмах поднявшегося из-под куста тетерева нарушал тишину. Огромные сосны, поросшие мохом, часто заслоняли ему дорогу своими длинными ветвями, так что он должен был или нагибаться, или отводить руками упругие сучья. С приближением в середину лес становился чаще и темнее. Под ногами у него хрустели беспрестанно сухие сучья, которые покрывали землю целым пластом. Кроме того, ему часто приходилось перелезать через толстые колоды упавших сухих деревьев. Преодоление этих небольших препятствий несколько отвлекало моего героя от главного предмета его мыслей; вместе с физическим утомлением уменьшалась в нем и решительность. Мысли его приняли печальное и несколько боязливое направление. «Что, если мы разойдемся», – подумал он и посмотрел вдаль. Перед ним расстилалось широкое желтеющее поле, вдали были видны Могилки. «Так здесь-то живет она, – подумал он, глядя на высокий дом, выходящий верхним этажом из-за стенной ограды, которою обнесена была усадьба. – Где-то ее комната, у которого сидит она окна? И где теперь она?» Небольшой шум листьев перервал его размышления. Он обернулся назад: перед ним стояла Анна Павловна, в белом платье и соломенной шляпке. Эльчанинов, ни слова не говоря, бросился к ней и начал целовать ее руку.

– Сядемте, – проговорила Анна Павловна, указывая на сухое дерево. Голос ее дрожал. Видно было, что она делала над собой усилие. – Я хочу с вами поговорить, – продолжала она, – опросить вас, не изменились ли вы? Любите ли вы еще бедную Веру?

Этого вопроса Эльчанинов никак не ожидал.

– Я... Веру?.. – пробормотал он и далее ничего не мог придумать.

Анна Павловна, с своей стороны, тоже, казалось, не знала, о чем ей говорить и что начать.

– Вы ее еще любите, вы не забыли ее? – начала, наконец, она. – Вы не забыли и меня?

– Нет, я не забыл вас, я не мог вас забыть, – подхватил Эльчанинов и схватил себя за голову.

Молодые люди замолчали на некоторое время.

– Но, боже мой, как вы переменялись! – произнес он, всплеснув руками и всматриваясь в лицо Анны Павловны. – Вы или больны, или несчастливы!

– Я несчастлива! – отвечала она.

– Мужем? Так?..

– Да. Он не любит и не уважает меня. Я беспрестанно должна выслушивать упрёки, что я бедна, что его обманом женили на мне.

Эльчанинов сделал движение.

– Он не позволяет мне, – продолжала Анна Павловна, – читать, запретил мне музыку. При всем моем старании угодить ему он ничем не бывает доволен. Он бранит меня.

Эльчанинов встал и начал ходить.

– Я способен убить этого человека! Он с первого раза показался мне ненавистен, – вскричал он задыхающимся голосом и в эту минуту действительно забыл свою любовь, забыл самого себя. Он видел только несчастную жертву, которую надобно было спасти.

– Нет, добрый друг, – возразила Анна Павловна, – убить его нельзя, но вы посоветуйте, что я должна делать... Я думала ехать к батюшке, но это его ужасно огорчит; я думала бежать, скрыться где-нибудь в монастыре...

– Но отчего вам не разойтись просто с ним? – спросил Эльчанинов, несколько пришедши в себя. – Отчего вам не жить врозь?

– Мне нечем жить: я бедна!

– Но ваш батюшка?

– Батюшка мне не дал ничего, потому что все наше имение конфисковано.

– Вы не должны жить с мужем, – начал Эльчанинов решительным тоном. – Уезжайте от него на этих же днях, сегодня, завтра, если хотите... У меня есть небольшое состояние, и с этой минуты оно принадлежит вам.

Слезы показались на глазах Анны Павловны. Она вся вспыхнула.

– Вы меня очень любите? – невольно проговорила она, протягивая ему руку.

Эльчанинов на этот вопрос мог или не отвечать, или открыться во всем.

– Вы удостоиваете меня вашей дружбой, – начал он не без волнения, – вы почтили меня доверием; возьмите все это назад: я не стою того.

Мановская робко взглянула на него.

– Я не могу быть нашим другом, я вас люблю, – произнес Эльчанинов.

Силы совершенно оставили бедную женщину. Она не могла долее притворяться, не могла долее выдерживать заученной роли и зарыдала. Потом, как бы обеспамятев, пристально взглянула на Эльчанинова и схватила его за руку.

– Правду ли вы говорите, не обманываете ли вы меня? Поклянитесь мне в том, что вы сказали.

– Клянусь богом! – вскричал Эльчанинов.

– Хорошо, – продолжала Мановская, – любите меня!.. Я сама вас давно люблю! Но теперь прощайте: отпустите меня, я не могу дольше оставаться.

Эльчанинов обезумел от восторга.

– Человек ты или ангел! – вскричал он, обхватив за талию Анну Павловну и целуя ее в лицо. – Я тебя не пущу, ты моя, хоть бы целый мир тебя отнимал у меня.

– Пустите меня! Я слаба, пощадите меня!

– Но когда я увижу тебя еще? Я с ума сойду, если это будет долго!

– Хорошо, я буду здесь.

– Но когда же?

– В воскресенье.

Раздавшийся в это время невдалеке голос заставил их оглянуться. К ним подходил Иван Александрыч. Эльчанинов, как можно было судить по его движению, хотел бежать, но уж было поздно.

– Наконец-то я вас нашел, Анна Павловна, – начал Иван Александрыч. – Бегал-бегал, обегал все поле, – дело очень важное. Приезжаю, спрашиваю: «Дома господа?» – «Одна, говорят, только барыня, да и та в поле». – «В каком?» – «В оржаном». – Валяй в оржаное. Наше вам почтение, Валерьян Александрыч! Вы как здесь?

– Так же, как и вы, – отвечал Эльчанинов, – приехал, – говорят, Анна Павловна в поле, я и пошел в поле.

– Вот как-с, а я ведь думал, что вы «незнакомы с Михайлом Егорычем. Матушка Анна Павловна, первой всего: я ведь к вам с важным поручением. Где супруг-то?

– Он уехал в город, – отвечала Анна Павловна, едва приходя в себя.

– Пошлите за ним, бога ради, нарочного. Завтра вам надобно быть дома обоим. Его сиятельство приедет к вам. Он говорит, что знает вас, и ужасно как хвалит.

– Мы будем дома, – отвечала Анна Павловна. – Пойдемте! Доведите меня, Иван Александрыч.

– А мне позвольте проститься, – сказал Эльчанинов, – я пройду прямо.

– Прощайте.

Эльчанинов ушел в лес; Иван Александрыч подал руку Анне Павловне, и они пошли.

– Отчего это Валерьян Александрыч не пошел в усадьбу? – спросил будто с простодушным любопытством Иван Александрыч.

– Верно, не хочет.

– А отчего ж он не хочет?

– Он незнаком с мужем; я его прежде знала.

– Прекрасный он молодой человек, умный, образованный, – заметил Иван Александрыч.

Анна Павловна ничего не отвечала, и они молча вошли в усадьбу.

Стало уже смеркаться, когда Иван Александрыч выехал на своих беговых дрожках из Могилок.

– Какова соколена! – начал он рассуждать вслух. – Тихая ведь, кажется, такая; поди ты, узнай бабу. А молодец-то... ловкой малый! Рассказывать или нет? Подожду пока! Кажется, его сиятельство тут того... Слабый старик по этой части.

На этих словах он почувствовал, что его кто-то схватил за воротник шинели. Иван Александрыч обернулся. Это был верхом Эльчанинов.

– Ба! Вы все еще едете, – сказал он, – не тяните, пожалуйста, шинели: сукно тонкое, как раз лопнет.

– Остановите вашу лошадь, мне нужно с вами поговорить, – сказал мрачно Эльчанинов. Иван Александрыч повиновался.

– Вы никому не должны говорить, что сегодня видели меня в Могилах, – продолжал Эльчанинов, колотя рукой по седлу, – в противном случае я вас убью.

– Да мне-то что за дело? – возразил Иван Александрыч. – Сам бывал в таких переделках.

– Нет, вы должны поклясться.

– Ей-богу, не скажу! Я не из таких: не люблю из избы выносить сору.

– Хорошо, помните же! – проговорил Эльчанинов и, поворотивши свою лошадь, поскакал в галоп.

«Вот оно, какую передрягу наделал, – думал Иван Александрыч, – делать нечего, побоялся. Охо-хо-хо! Сам, бывало, в полку жиду в ноги кланялся, чтобы не сказывал! Подсмотрел, проклятый Иуда, как на чердаке целовался. Заехать было к Уситковым, очень просили сказать, если граф к кому-нибудь поедет!» – заключил он и поехал рысцой.

## VII

На другой день, часу в двенадцатом, Анна Павловна, совсем забывшая об известии, сообщенном Иваном Александрычем, сидела в гостиной. Она как будто бы была повеселее, как будто бы все изменилось в ее глазах. Эта мрачная и темная гостиная не казалась ей так скучна и печальна; ей думалось, что легче, наконец, будет жить на свете, потому что теперь у ней есть человек, который поучаствует в ней, который разделит с ней ее горе. Муж, общество, да что ей за дело до них! У нее есть друг, который заменит ей все, защитит ее от всех. Он сам говорил это: разве не доказал он своего самоотвержения, когда предложил ей свое состояние для того только, чтобы облегчить ее участь.

Приезд мужа прервал эти мысли. Михайло Егорыч вошел в гостиную и сухо поздоровался с женой.

– Здоровы ли вы? – спросил он.

– Здорова.

– Велите дать мне есть.

Анна Павловна вышла. Мановский осторожно вынул какие-то бумаги из кармана и запер в стоявшую под диваном железную шкатулку.

В это время на дворе раздался шум подъехавшего экипажа. Мановский взглянул в окно: к крыльцу подъезжала запряженная четверней карета.

– Кто это такой? – сказал Мановский, не узнавая гостя по экипажу, и вышел на половину залы.

Через несколько минут вошел граф. Мановский, не двигаясь с места, глядел в глаза ново-прибывшему.

– Честь имею рекомендоваться: я граф Сапега, – начал тот, подходя к хозяину, – сосед ваш, и приехал, чтобы начать знакомство с вами, которое тем более интересно для меня, что супруга ваша уже знакома мне. Она дочь моего приятеля.

– Очень вам благодарен, ваше сиятельство, за сделанную мне честь, – вежливо отвечал Мановский, – и прошу извинения, что первый не представился вам, но это единственно потому, что меня не было дома: я только что сейчас вернулся. Прошу пожаловать, – продолжал он, показывая графу с почтением на дверь в гостиную. – Жена сейчас выйдет: ей очень приятно будет встретить старого знакомого. Просите Анну Павловну, – прибавил он стоявшему у дверей лакею.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.